



БАРБЭ Д'ОРЕВИЛЬИ

I. ЖИЗНЬ

Жюль Амедей Барбэ д'Оревильи родился в маленьком нормандском городке *Sauveur-le-Vicomte* 2 ноября 1808 года, в день «Всех мертвых».

«В этот мир я вошел в зимний, ледяной, сумрачный день, в день слез и воздыханий, день, который Мертвые, чье имя он носит, осеменили пророчественным прахом. Я всегда верил, что этот день должен был оказать темное влияние на мою жизнь и мою мысль», — говорил он про себя.¹

Как о произведениях д'Оревильи нельзя судить, не касаясь его личности, так нельзя говорить о нем самом, не вызывая теней его предков. Он хотел быть и был голосом своей земли и своих отцов.

Род Барбэ — одна из старых крестьянских фамилий Нормандии, с полуострова Контантена, с берегов Ламанша, где раскинулись самые тучные, самые зеленые луга Франции.

Имя д'Оревильи не было дворянским титулом — так по именам своих поместий различались отдельные ветви рода. Лишь в 1765 году, перед революцией, дед поэта Феликс Барбэ купил себе дворянский титул. Теофиль, младший из сыновей его, глубочайшим несчастьем жизни которого было то, что, будучи ребенком, он не мог принять участие в героической борьбе шуанов,² в которой участвовали его старшие братья, был отцом поэта. Осужденный на вынужденное бездействие, он оставался всю жизнь непримиримым монархистом и отказывался признавать законными владыками реставрированных Бурбонов, так как, даровав Хартию,³ они как бы признали этим дело Революции. Не нашедшая себе выхода политическая страсть оледенила его волю и сделала из него самовластного и жесткого хозяина своей семьи.

«Вы провели свою благородную жизнь в уединении полном достоинства, как древний *pater familias*, верный своим убеждениям, которые не торжествовали, потому что война шуанов угасла в военном великолелии Империи и в наполеоновской славе. Мне же не была дана эта спокойная и мощная судьба. Вместо того чтобы, как вы, оставаться сильным и, как дуб, вросшим в родную землю, беспокойный духом, ушел я вдаль, безумно отдавшись тому ветру, о котором говорится в Писании и который, увь! всюду вьется меж пальцев человека».⁴ В таких выражениях Жюль

Барбэ д'Оревилли посвящал отцу свой лучший роман «Le Chevalier des Touches»* — трагический эпизод шуанского восстания.

Мать поэта была из старой нормандской аристократии из рода Анго, получившего свой герб при Франциске I. В числе ее предков был знаменитый корсар Анго, который самовольно правил берегами Атлантики, объявлял войну португальскому королю и заключал договоры с соседними державами. Дед же ее Луи Анго был незаконным сыном Людовика XV.

«Вот разнообразная генеалогия, — восклицает Реми де Гурмон, — солидные нормандские мужики и контантенские аристократы, оружейники из Дьепа и Бурбоны. Неужели такая смесь была необходима, чтобы создать одного Барбэ д'Оревилли? Вероятно. . . Чистые расы дают плоды более цельные».⁵

И в творчестве и в личности Барбэ д'Оревилли кипит вся эта смесь терпких токов старой французской крови. Он проходит через современную литературу, пьяный этим тройным хмелем — дерзостью корсаров, католицизмом шуанов и гордостью Бурбонов, справедливо заслужившим ему имена «Великого Коннетабля французской словесности»,⁶ «Видама Франции»,⁷ «Последнего шуана», «Герцога Гиза литературы»,⁸ «Тамерлана пера»,⁹ «Мушкатера», «Крестonosца», — имена, которыми он был увенчан как друзьями, так и врагами.¹⁰

Раннее детство Барбэ д'Оревилли прошло под трубные звуки наполеоновских побед и под вечерние рассказы у камина про дерзкие предприятия шуанов, которые еще продолжали на Контантене безумную, героическую и напрасную борьбу против Империи.

Первые книги его были: Шатобриан, Вальтер Скотт, Байрон и Бёрнс. Ребенком он мечтал о войне. Но вместе с Реставрацией над героической Францией легла великая тишина мещанства. Школьные годы он провел в суровом средневековом городе Valognes. Ему было 15 лет, когда при вести о греческом восстании он написал свое первое произведение: оду «Героям Фермопил», посвященную Казимиру Делавиню, который отнесся к ней одобрительно. В 1827 году его отправили в Париж в Collège Stanislas готовиться к бакалавреату.¹¹ Там подружился он с Морисом Гереном, рано умершим талантливым поэтом, который был одним из двух людей, имевших для него наибольшее значение в первую половину жизни. Вторым был Требутьен, библиограф, ориенталист и библиотекарь в городе Саен, куда после бакалавреата Барбэ д'Оревилли был направлен отцом для поступления на юридический факультет. В это время начинается распря между ним и отцом, который приказывает ему, как старшему сыну, согласно традициям рода, заниматься землей. Период революционных увлечений, совпавший с июльской революцией, совместное с Требутьеном издание «Revue de Saen», проповедь крайних республиканских идей привели к полному разрыву с отцом. Он оставляет на много лет Нормандию и уезжает в Париж, «эту приемную родину для всех, кто порвал связь с семьей и оставил родную землю». Лишь дружба Требутьена, который

* «Шевалье де Туш» (франц.).

становится на всю жизнь его верным издателем, поддерживает в эту эпоху его связь с Нормандией. В Париже он отдается байроническому романтизму Ролла и Чаттертона.¹² Он пишет свой первый роман «Ce qui ne meurt pas»* — роман, которому суждено было увидеть свет лишь в 1884 году,¹³ когда ему уже было семьдесят шесть лет. Точно так же и поэма в прозе «Amaïdée»,** написанная в ту же эпоху вдохновенных бесед с Гереном, появилась лишь в 1889 году, в год его смерти. Недаром на печати его стоял грустный и гордый девиз «Too late»¹⁴ — «Слишком поздно», в котором — тайная история его сердца. Главным документом, освещающим кризис его романтической разочарованности, является дневник его «Premier Memorandum»***. Первые книги его, появившиеся в печати, были роман «L'Amour impossible»,**** и «Vague d'Hannibal»,***** которые он до этого тщетно старался поместить в «Revue des deux mondes». Эти книги не имеют успеха и отмечены лишь немногими уточненными ценителями. Зато в свете он сдерживает победы. Это время его дендизма. Он красив, изыскан, блестящ, едок, изящно одет, производит неотразимое впечатление на женщин и скрывает боль души за маской надменности.

Недостаток материальных средств заставляет его взяться за журнализм. «Газеты мне отвратительны», — восклицает он. И несколько месяцев спустя: «Я проглотил свою жабу». Он пишет в «Nouvelliste», в «Le Globe», в «Le moniteur de la mode» и уже показывает в критике свои львиные когти, свою «furia francese»*****. Он начинает свой большой роман «La vieille maîtresse»***** и заканчивает «Du dandisme et de G. Brummel»***** — блестящую, глубокую и парадоксальную книгу, которая появляется в «Débats». Но светская жизнь без цели, без веры и без идеалов становится невыносима его воинствующему и устремленному сердцу. В 1846 году он переживает глубокий духовный и религиозный переворот и возвращается к католицизму, к земле, к традициям рода.

На время он оставляет литературу. Он хочет практически работать в пользу церкви, и, романтик, он организует «Католическое общество» по образцу бальзаковского «Общества тринадцати».¹⁵ Это общество в его планах должно было создать во Франции нечто подобное движению в Англии, вызванному Рескином:¹⁶ символик средневековья поставить вновь на место мещанских стилей. Барбэ д'Оревильи собирается конкурировать с магазинами церковной утвари квартала Святого Сульпиция. Общество в кругу своих предприятий должно охватывать «бронзы, кованые железные украшения, церковные облачения, покровы для алтарей, вышивки, образа, гравюры, книги, церковные библиотеки, молитвенники, музыку, живопись и скульптуру, посвященные церковным целям, орнаменты,

* «То, что не умирает» (франц.).

** «Амедея» (франц.).

*** «Первая записная книжка» (франц.).

**** «Запретная любовь» (франц.).

***** «Перстень Ганнибала» (франц.).

***** французскую ярость (итал.).

***** «Старая любовница» (франц.).

***** «О дендизме и Джордже Бреммеле» (франц.).

стекла, кафедры, алтари, исповедальни, ковры, стулья, решетки, органы и т. д. и т. д. . .».

Он путешествует по Франции, устраивая дела «Католического общества тринадцати пожирателей»,¹⁷ и печатает в «Débats» после «Дендизма» статью об Иннокентии III.¹⁸ Джордж Брёммель и Иннокентий III, модные хроники и статьи по истории церкви — это было слишком трудно приемлемо для его современников. В «Revue du monde catholique», которую основывает в 1847 году Католическое общество, он печатает яростно патетические статьи в защиту церкви, статьи, дышащие пламенем инквизиционных костров и гремящие отлучениями, блестящие апологии иезуитского ордена и одновременно помещает сверкающие остроумием светские хроники под вызывающим женским псевдонимом Maximilienne de Sygène.¹⁹

В 1848 году на несколько мгновений Барбэ д'Оревильи присоединяется к революции как председатель клуба «Смоковниц св. Павла» в Сент-Антуанском предместье, клуба, состоявшего из двух тысяч рабочих католиков. На первое заседание его он явился в сопровождении двух ассистентов священников. Члены клуба встретили их восторженными криками «долой иезуитов». В первый вечер Барбэ был сдержан и терпелив. На второй тоже. На третий он не вынес и, войдя на трибуну, объявил:

«Господа! Я очень жалею, что у меня, как у Кромвеля, нет военной силы, чтобы заставить вас замолчать. Но я не хочу, чтобы болтовня и крики остались здесь победителями. Поэтому я объявляю клуб распущенным. Мы выйдем вместе. За помещение заплачено за триместр вперед. Ключ я прячу в свой карман для того, чтобы оно не служило отхожим местом для кабацких трибунов». «И, как испанский гранд в присутствии короля, президент клуба Смоковниц св. Павла, взяв свою широкополую шляпу, надел ее перед лицом народа. Ошеломленная толпа застыла на месте».²⁰

Когда во время наступившей реакции Католическое общество распалось и орган его был закрыт,²¹ Барбэ возвратился снова к работе над своим романом «Une vieille maîtresse». Именно в это время он возвращается мысленно к родине своей, Нормандии, и задумывает создание цикла нормандских романов, героическую эпопею своей земли во время революции. Первым опытом «нормандского романа» был рассказ «Le dessous des cartes d'une partie de whist»,^{*22} который потом вошел в книгу «Les Diaboliques».**

В 1849 году в «Opinion publique», органе роялистов и легитимистов, он печатает два серьезных и глубоких этюда о Жозефе де Местре и Бональде,²³ проникнутых непримиримым католицизмом. Они легли в основу его книги «Les prophètes du passé»***

С 1850 года он пишет в журнале «La Mode», органе легитимистов, основанном его другом герцогом де Ровиго. В вечерней газете «Le Pub-

* «Изнанка одной партии в вист» (франц.).

** «Дьявольские лики» (франц.).

*** «Пророки былых времен» (франц.).

lis» он ведет политический фельетон и поддерживает Наполеона III. Благодаря этому он после переворота входит в редакцию правительственного органа «Le Pays».

В это время, в начале Империи, им написан роман «L'ensorcelée» * и одна из лучших поэм его «La maîtresse rousse». ** Он издает «Reliquiae Eugénie Guérin» *** — дневники и записки сестры его друга Мориса Герена, мистическую и обаятельную книгу, которая возродилась в недавние дни.²⁴

В 1856 году он примиряется со своим отцом и после двадцати пяти лет отсутствия возвращается в Valogne. В 1860 году он замыслил объединить все свои критические статьи в одном громадном издании, «основать свой собственный дом», и начинает выпускать сериями «XIX siècle. Les oeuvres et les hommes» **** — свой страшный и несправедливый суд над людьми и произведениями девятнадцатого века.

Его положение в правительственном органе «Le Pays» колеблется, и он находит себе почетное место и полную свободу в «Nain jaune», издаваемом Аврелианом Шоллем. Отсюда он подвергает жесточайшему обстрелу Французскую Академию. Его «Les quarante médaillons de l'Académie Française» ***** — образцовый памфлет, шедевр гнева и злости. Лишь перед трупом в эти дни умершего Альфреда де Виньи он с глубоким почтением склоняет свое копье и относительно щадит Виктора Гюго, Ламартина и Сент-Бева. В 1863 году он ведет бешеную атаку против «La revue des deux mondes», и Бюлоз преследует его судом за диффамацию. Несмотря на то, что Барбэ д'Оревилю защищает Гамбетта, суд тем не менее приговаривает его к штрафу в 2000 франков.²⁵

В 1864 и в 1865 годах он издает два лучших своих романа: «Le Chevalier des Touches» — героический эпизод шуанского мятежа, в котором он достигает полного мастерства разработки драматических положений, и «Un prêtre marié» ***** — роман, изданный католическим издательством и вслед затем занесенный в Index и изъятый из продажи²⁶ распоряжением Парижского архиепископа.

Он ведет, как всегда, несправедливые и великолепные кампании против парнасцев, хлещет Золя и Валлеса. В 1870 году, во время осады, он несет службу солдата. В 70-х и 80-х годах он пишет последовательно в «Figaro», в «Gaulois», в «Constitutionnel», в «Жиль Блазе», в «Трибуле».

В 1874 году появляются его «Diaboliques».

Из его последних книг надо отметить «Goethe et Diderot» ***** (1880), «Une histoire sans nom» ***** (1882), «Les vieilles actrices. Le musée des

* «Околдованная» (франц.).
 ** «Рыжая любовница» (франц.).
 *** «Reliquiae Эжени Герен» (франц.).
 **** «XIX век. Произведения и люди» (франц.).
 ***** «Сорок медальонов Французской академии» (франц.).
 ***** «Женатый священник» (франц.).
 ***** «Гете и Дидро» (франц.).
 ***** «Повесть без названия» (франц.).

antiques» * (1884), «Une page d'histoire» ** (1886). Последней книгой, изданной им при жизни, была его юношеская поэма «Amaidée».

Это последнее тридцатилетие своей жизни он проводит в глубоком уединении в своей убогой квартире, состоявшей из одной комнаты, на улице Русселе. Он «знаменит и неизвестен». Оскорбления, наносимые критиком, мешают отдать справедливость поэту. Католики и легитимисты, за дело которых он борется, относятся к нему с еще большим опасением, чем его враги. Его зовут полшутя, полусерьезно Barbemada de Torquevilly.²⁷

Лишь небольшой круг избранных группируется около него в эти годы: Леон Блуа, Пеладан, Бурже, Октав Юзанн, Гюисманс, Коппэ, Рашильд.

Пеладан сохранил в нескольких строках его портрет в старости:²⁸

«Он жил на улице Русселе в доме для рабочих. Квартира состояла из одной комнаты, в ней он и умер. Считалось же, что он живет в Valogne, где он проводил пятнадцать дней в году. Дубовый аналой с его гербом был единственным украшением комнаты. Через окно были видны деревья монастыря St. Jean de Dieu. Ему прислуживала консьержа. Этот денди жил, как монах, проводя время в чтении и в размышлениях. Днем он казался стариком, но в сумерках совершалось превращение: старческое все сбегало с него, и час спустя в свете появлялся самый блестящий из кавалеров. В первые мгновения летá еще сказывались в известной оконечности; но как только разговор загорался, старый лев вновь обретал рыканья своего ума, которые никому не позволяли противостоятъ ему. Из года в год, каждый вечер боролся он против старости, как Геракл с Танатос, и каждый вечер вырывал у него собственную молодость — Альдесту».²⁹

Он умер в этой же комнате в 1889 году,³⁰ восьмидесяти одного года от роду, умер так, как мечтал умереть: между священником и сестрой милосердия. Последние слова, написанные его рукой, были: Il n'y a pas d'amis: il y a des hommes sur lesquels on s'est mépris.***

Неизвестный врач был призван констатировать его смерть. Ощупав остановившийся пульс, он попросил сказать ему по слогам трудное имя покойного и, записав, спросил:

«А его профессия?».

Ни у кого из присутствующих друзей не хватило духу ответить на этот вопрос, свидетельствовавший о том, что «все мы умираем неизвестными — слава солнцу мертвых». А Шарль Бюэ, входивший в эту минуту в комнату, кинул ему:

«Он был продавец Славы!»³¹

А на другой день Жюль Леметр писал в некрологе:³²

«Все мы умираем неизвестными, — говорил Бальзак. — Жюль Барбэ д'Оревилли отдал Богу свою благородную и полнозвучную душу — душу католика, душу шуана, душу денди, душу романтика, душу мушкатера.

* «Старые актрисы. Музей древностей» (франц.).

** «Страница истории» (франц.).

*** Друзей нет: существуют лишь люди, в которых заблуждался (франц.).

Он умер, написав по крайней мере сорок томов, — славный и неизвестный. Он умер непризнанным после полувека пеной кипящих разговоров.

Прежде всего, никто не узнает, каких лет он умер и родился ли он в 1808 или 1811 году. Потом никто никогда не узнает, что делал он в течение двадцати лет жизни с 1830 по 1850 год. Этого он не поведал никому. Некоторые утверждают, что в эту эпоху он держал магазин церковных украшений на улице St. Sulpice. Но доказательства этому отсутствуют. Наконец, никто никогда не узнает, играл ли этот таинственный человек всю свою жизнь лишь роль (весьма благородную и невинную) или он был искренен. И в какой мере игра смешивалась в нем с искренностью, или искренность с игрой. Все эти три тайны он унес с собой».

II. ЛИЧНОСТЬ

Ламартин писал Барбэ д'Оревильи: «Как герцог Гиз — мертвый вы будете казаться больше, чем живой».

В 1908 году второго ноября исполнилось сто лет со дня рождения д'Оревильи. Предсказание Ламартина исполняется. Те, кто с трепетом проникают в великолепный саркофаг его творения, бывают потрясены гигантскими очертаниями мертвой фигуры этого нормандского воина. Но таких слишком немного.

У Жюля Барбэ д'Оревильи старые и запутанные счеты со своим веком. Он отказывался признать XIX век и судил его прозорливо, надменно, гневно и несправедливо. «Вопреки всем позитивизмам, им изобретенным, и всем его притязаниям, с обдуманной дерзостью я называю XIX век — веком абсолютного скептицизма, поверхностной философии, веком крушения всего от одного прикосновения его все трогавших пальцев.³³ Это время, когда душа отлетает от всех явлений, от всех вещей под напором ощущений, под напором надвигающейся материи».³⁴ Но зато он имел мужество пройти свой век из конца в конец, в течение восьмидесяти лет, следя за извилинами его мысли, и до самого последнего мгновения не выпуская из рук мстительного копьа до безумия дерзостных критик, которыми из года в год, изо дня в день метил он и клеймил глупость, пошлость и безверие. Пророк прошлого, хранитель отжившего, страж отвергнутых верований, носитель осмеянных веком идей, он с глубоким сознанием своего назначения держал весы в своей руке, и когда чаши колебались, он, не задумываясь, кидал на одну из них свой победительный меч — меч Бренна.³⁵

Это был Дон-Кихот критики. Но Дон-Кихот прекрасно вооруженный, зоркий и меткий. Он сражался с князем века сего, с сатаной, и преследовал беспощадно грех, считая глупость главным его проявлением.

«Св. Фома Аквинский в „Summa totius theologiae“ * исследует вопрос: „Глупость есть ли грех?“ и после определений и оговорок, продиктованных ему его богословской осторожностью, отвечает на этот вопрос утвер-

* «Сумма теологии» (лат.).

дительно Глупость является грехом оттого, говорит Doctor Angelicus, что ею затемнена духовная сторона. Этот вид глупости создан из ненависти, страха, низости и скуки: ненависти к Богу и к искусству, страха высшей истины, умственного бессилия и скуки жить замурованным без света и надежды. На борьбу с этим четверояким грехом Барбэ д'Ореви́льи употребил часть своей жизни; для этого он стал журналистом и полемистом. Одного за другим он брал людей своего времени, взвешивал их по частям и писал итоги. На этих листках часто приходится читать: „Глупость — сто на сто общего веса“³⁶ (Remy de Gourmont).

Зато и XIX век был не менее жесток и враждебен к Барбэ д'Ореви́льи, чем он к нему. Из всех уединенных умов он остался, быть может, наименее оцененным. Правда, его звучное нормандское имя, в первых слогах которого чувствуется исполинская земляная сила, в средних — холодный блеск и змеиный свист шпаги, и заключающееся шуршаньем кружев и шелестом шелкового шлейфа, это имя часто звенит на страницах текущей литературы, и пышные имена его героических романов знакомо звучат уху читателей. Но очень мало читавших хоть что-нибудь из его произведений, кроме «Les Diaboliques». «Он более знаменит, чем известен», говорит его биограф Греле.³⁷ Судьба, между тем, Барбэ д'Ореви́льи более благоприятствовала, чем другим «подземным классикам» французской литературы. В то время, когда многие и лучшие произведения хотя бы Вилье де Лиль-Адана или Поля де Сен-Виктора стали библиографической редкостью либо безвозвратно похоронены в глубочайших пластах старых газет и журналов, все строки Барбэ были собраны и собираются его преданными друзьями, которые, вопреки равнодушию публики, продолжают многотомное издание его критических статей «Люди и произведения XIX века» — его Страшный суд над современностью.

При жизни литература его затемнялась личностью. Фигура его была слишком необычна, торжественна и архаична, чтобы современники могли это простить ему. Если существуют еще люди, которые готовы извинить оригинальность ума и парадоксальность речи, то таких, которые могли бы примириться с оригинальностью костюма, нет совершенно. «Великий Коннетабль французской словесности» пришел в восьмидесятые годы с другого конца столетия в живописном и романтическом костюме безукоризненного денди 30-х годов. Восьмидесятилетним старцем он появлялся на парижских бульварах в широкополой шляпе, подбитой красным бархатом, в романтическом плаще, в сюртуке, узко стягивавшем в талии его по-прежнему юношескую фигуру, и в белых панталонах с серебряными галунами. Это зрелище приводило в неистовство парижан, привыкших к успокоению глаза на однообразном разнообразии форм. И вполне естественно, что необычность его костюма волновала его современников гораздо больше, чем его вызывающие парадоксы и удары хлыстом, которым он их стегал по лицу. Поэтому нет ни одного критика, который своей статьи о Барбэ д'Ореви́льи не начинал с описания сюртука и серебряного галуна на панталонах. «Для поверхностной толпы, — говорит Октав Юзанн, — Барбэ д'Ореви́льи оставался всегда фигурой карикатурной и эксцентрической, чем-то вроде „Герцога Брунсвика“ лите-

ратуры, старого денди, затянутого в корсет, набеленного, покрашенного, украшенного бриллиантами и кружевами. Все журнальные писаки, которые совсем не читали его произведений и не могли понять его идей, упражнялись в том, чтобы представить его смешным чудаком, паяцем, чей воинственно прокезский вид был настолько же фальшив и старомоден, как его костюм. Легенда эта укоренилась и немало повредила славе удивительного писателя». ³⁸

«Разве можно рассчитывать выиграть процесс, когда вы носите такой костюм», — крикнул ему с негодованием директор «Le Pays» после того, как он проиграл дело, начатое против него Бюлозом за диффамацию.

Но друзья видели его иначе. Вот в каких словах Жозефен Пеладан описывает его наружность: ³⁹

«Он гордо вздымался на дыбы, вытягивался в дугу, выставлял грудь и выгибался, как геральдический зверь. Грация мужественная и мощная, но в то же время гибкая, тонкая и нежная грация преображала этого корсара в изысканного царедворца. Глядя на его бронзовый бюст в Люксембургском музее, хочется сказать: „Вот голова, созданная для шлема“. Нет! Эта голова сама была шлемом, и это надменное, к устам от чела спускающееся презрение было подобно забралу, скрывающему от мира стыдливость раненой души. Оденьте его в кольчугу, и это будет второй Пандольфо Малатеста, один из кондотьеров диких и утонченных, которые резали без жалости и способны были от восторга плакать над чертежами Леоне Баттиста Альберти».

Обвинение в неискренности висело всю жизнь над Барбэ д'Ореви́льи; но понятие искренности одно из наименее точно определенных понятий нашего языка, и, обычно, мы делаем ошибку, смешивая его с понятием невинности. Твердо зная, что «невинность как василиск умирает, когда увидит себя в зеркале», ⁴⁰ свойство это мы бессознательно переносим на искренность, признавая вне подозрений искренними лишь те слова и жесты, которые совершены в самозабвенном порыве. Там же, где слову предшествует мечта о нем, а к жесту примешано созерцание его как исторического явления, там неизбежно является сомнение в искренности человека. Но у людей, живущих мечтой, мыслящих словом и чувствующих именами, корни реальностей чаще растут из фантазии, чем из действительности. В этом случае слова «искренность», «игра» не применимы совершенно. Барбэ д'Ореви́льи «создал поэму из своей личности».

Он познал конечные и несовместимые противоречия своей природы и принял их и обоготворил их в высшем слиянии, которое не было понятно случайным свидетелям отдельных миггов его бытия. Из глубоких исторических несовместимостей, таившихся у него в крови, он создал цельную и законченную жизнь. Верующий католик, он был непримиримым индивидуалистом, убежденный монархист, он пламенел всю жизнь духом мятежа, ожесточенный ненавистник революции, он обладал темпераментом истинного революционера. «Католицизм — это познание добра и зла. Будем же мощны, широки и щедры, как вечная истина». Таков был его католицизм, и думается, что ни Ницше, ни Бакунин не отказали бы подписаться под такой формулой.

«Нет свободы, — говорит Вилье де Лиль-Адан, — существует только *освобождение*».⁴¹ Поэтому тот, кто рожден мятежником, всегда бунтует против торжествующей силы, какова бы она ни была. Если имя этой силе — Король, он бунтует против короля, а в эпохи владычества народа он бунтует против народа. В средние века он будет еретиком, а в век материализма станет католиком. Его девиз — «один против всех». Его борьба героична и напрасна. Он не пойдет туда, где он рискует быть увенчанным дешевыми лаврами площадного триумфа.

Таков был Барбэ. Пока его мир был заключен в родительском доме, он был республиканцем, когда же горизонт расширился и он понял, что торжествующая сила — материализм, то он вернулся к вере своих отцов — к королю и к церкви, в них познав истинных мятежников против века. В его груди жило «не сердце пошлого триумфатора с глазами, пламенеющими наглостью, а гордое сердце побежденного, переполненное пеплом печали».

Поэтому на печати своей он написал слова гордые и грустные: «Too late» — «Слишком поздно!», поэтому он любил повторять слова Моисея Альфреда де Виньи: «Господи! Ты создал меня сильным и одиноким!».⁴²

Лишь в крайнем индивидуализме человек может найти ту точку равновесия своей души, которая примиряет противоречия его природы, не принося в жертву одно другому и не оскоряя своих страстей. Индивидуализм Барбэ д'Оревильи назывался «дендизмом». Парадоксальная и дерзкая книга его юности, посвященная Джорджу Брёммелю, королю дендизма, «qui fut le roi par la grâse de la Grâse», «королю милостью Грации»,⁴³ дает ключ если не ко всей его жизни, то по крайней мере к той «поэме, которую он создал из своей личности», — поэме, так возмущавшей вкусы его современников.

Элегантная дерзость и презрение к общественному мнению — вот что больше всего чарует его в дендизме.

«Люди, которые рассматривают явления лишь с мелочной их стороны, выдумали, что дендизм — это искусство одеваться, удачная и смелая диктатура в области туалета и внешней элегантности. Это в нем есть, безусловно, но кроме того есть еще многое. Дендизм — явление человеческое, социальное и духовное. Это вовсе не платье, существующее как бы само по себе. Напротив, дендизм — это известная манера носить его. Можно быть одетым в лохмотья и оставаться денди. . .⁴⁴ Денди собственным, частным авторитетом ставит свой закон над теми законами, которые царят в кругах наиболее аристократических, наиболее приверженных традициям». Из последних слов явствует, что если Барбэ д'Оревильи избрал знамена католицизма и монархии, чтобы бороться против торжествующего материализма и демократии, то дендизм привлекал его как мятеж против аристократических косностей.

В какие элегантные парадоксы облакает он свою апологию *тщеславия*, лежащего в основе дендизма!

«Что такое тщеславие? Любовь это, дружба или гордость?

Любовь говорит любимому существу: „Ты моя вселенная!“.

Дружба: „Ты мне подходишь“, но чаще: „Ты утешаешь меня“.

Гордость же молчалива. Она как король одинокий, праздный и слепой; корона закрывает ему глаза. Тщеславие владеет вселенной менее узкой, чем любовь. То, чего достаточно для дружбы, ее не удовлетворяет. Если гордость — король, то тщеславие — королева; она окружена, деятельна и прозорлива, и корона ее не на глазах, а там, где она красит ее красоту». ⁴⁵

У дендизма нет законов. Он весь в индивидуальности, в крайнем утверждении своей личности, на которое способны только англичане. Барбэ д'Оревилли проводит такую параллель между героями французской и английской элегантности: между Джорджем Брёммелем и графом д'Орсэ:

«Д'Орсэ нравился всем настолько естественно и страстно, что даже мужчины носили медальоны с его портретом. Денди же нравятся только женщинам — нравятся, возбуждая ненависть. Д'Орсэ был королем любезного радушия. Радушие же относится к чувствам, совершенно неизвестным денди. Подобно им, он владел искусством туалета, не блестящим, но глубоким, и потому, конечно, верхогляды смотрели на него как на преемника Брёммеля. Но дендизм вовсе не грубое искусство завязывать галстук. Есть денди, которые никогда не носили его. Пример — лорд Байрон, у которого была такая прекрасная шея. Кроме того, д'Орсэ внушал страсть к себе, и долгую. Из них одна осталась исторической. Денди же любимы лишь спазмодически. Женщины, которые ненавидят их, тем не менее отдаются им и за то имеют счастье, которое дороже всего: ненависть свою сжимать в объятиях. Что же касается до очаровательной дуэли д'Орсэ, тарелкой швырнувшего в голову офицера, непочтительно отозвавшегося о св. Деве, и дравшегося за нее, потому что она была женщина, а он не мог допустить, чтобы оскорбляли даму в его присутствии, то что может быть более французского и менее денди?». ⁴⁶

Согласно этим идеалам созданы все герои романов Барбэ д'Оревилли, от виконта де Брассара ⁴⁷ до графа Равила де Равилес, ⁴⁸ от Кавалера де Туша ⁴⁹ до аббата Жеоэля де Круа-Жуган. ⁵⁰

И не был ли сам Барбэ д'Оревилли вполне достоин своих героев, когда на вызывающие слова Бодлэра: «В своей статье вы осмелились коснуться интимных сторон моей личности. Я поставил бы вас в довольно неловкое положение, если бы послал вам вызов, так как вы как католик, кажется, не признаете дуэли?» — он выпрямился и отвечал: «Страсти мой я ставлю всегда выше моих убеждений. Я к вашим услугам, милостивый государь». ⁵¹

Обладая такими свойствами ума и души, Барбэ д'Оревилли не рискует стать писателем популярным, так как, чтобы полюбить его, надо дойти до той степени сознания, когда начинаешь любить человека лишь за непримиримость противоречий, в нем сочетавшихся, за широту размахов маятника, за величавую отдаленность морозных полюсов его души. Вся красота Барбэ в том, что он не боялся своих противоречий, а спокойно носил их в себе, зная, что между двумя противоположными остриями вспыхивают наиболее яркие молнии сознания.

Анатоль Франс едко замечает, что он был непримиримым католиком, но веру свою исповедовал предпочтительно в богохульствах. Но не надо

забывать, что католицизм был для него «познанием добра и зла», что уже само по себе отчасти богохульство. И потом ведь «если он мыслил как католик, то воображение его всегда оставалось языческим» (Греле).

Он сказал Анатолю Франсу: «Для Господа нашего Иисуса Христа было большим счастьем, что он был Богом. Как человеку ему не хватало характера». ⁵² Одному другу, который, встретив его однажды утром перетянутого, с вытянутой талией, сказал ему: «Черт побери, д'Ореви́льи, вы однако ловко затянуты в этот сюртук!», он отвечал: «Если бы я в настоящую минуту причастился святых тайн, я бы лопнул». ⁵³ В таких словах нет богохульства, а есть известная фамильярность с Богом, свойственная умам гордым и верующим. С полным правом в ответ на эти обвинения Барбэ д'Ореви́льи мог бы повторить слова, которые он влагает в уста одного своего героя, аббата Перси: «Разве недостаточно много сражался я за честь Господа и его святой церкви, чтобы он милостиво простил мне дурные привычки, приобретенные на его службе, и не придирался к формальностям». ⁵⁴ Когда после сражения при Мальплакэ Людовик XIV воскликнул: „Кажется я оказал Богу достаточно услуг, чтобы иметь право рассчитывать на лучшее отношение ко мне“, ⁵⁵ то, конечно, он никогда не был лучшим христианином, как в это мгновение. Искренняя вера часто позволяет себе эти фамильярности с Богом, которые глупцы принимают за смешные непочтительности, а лакейские души и философы за гордость. Предоставим же болтать этим господам. Для нас же, которым уважение к королю никогда не мешало свободному обращению с ним, — это совсем иное». ⁵⁶

Рассказывая в романе «Chevalier des Touches» про роялистов, критиковавших Бурбонов, Барбэ замечает: «Они жаловались на Бурбонов, как жалуются на любовницу. А жаловаться на любовницу — это значит лишний раз свидетельствовать о степени своего обожания». ⁵⁷

Но все эти психологические утонченности не были оценены современниками Барбэ. «Во Франции оригинальность не имеет родины; ее ненавидят как призрак благородства. Посредственности всегда готовы того, кто не похож на них, укусить тем куском десен, который не причиняет боли, но пачкает». ⁵⁸ И, конечно, эти беззубые и пачкающие укусы были все-таки чувствительны Барбэ, гордившемуся тем, «что, проходя чрез много несчастий и испытаний жизни, он всегда сохранял чистыми свои белые перчатки». К таким пачкающим укусам он, без сомнения, относил и те недоразумения, которые постоянно возникали по поводу его романов и рассказов. Он был моралистом и боролся против Дьявола и его оболещений, а между тем его самого считали поэтом греха и извращенности; его наиболее католическое произведение — роман «Le prêtre maîié» было изъято из продажи распоряжением Парижского архиепископа, а когда появились «Les Diaboliques», Барбэ д'Ореви́льи писал в одном из своих писем: «Само собою разумеется, что „Diaboliques“ с их заглавием не претендуют быть молитвенником или „Подражанием Христу“. Но они, тем не менее, написаны моралистом и христианином, который стремится к верности наблюдения, хотя бы и дерзкого, и верит, что сильные художники могут рисовать все и что живопись их всегда будет нравственна,

если только она трагична, если только она передает ужас тех явлений, которые они описывают. Лишь равнодушные и глумящиеся могут быть безнравственными. Автор же этой книги верит в Дьявола и в его власть над миром, поэтому он не насмехается и истории эти рассказывает вовсе не для того, чтобы напугать чистые души. Не думаю, чтобы тому, кто прочтет „Les Diaboliques“, захотелось бы в жизни повторить их. В этом мораль книги.⁵⁹ Но Барбэ д'Оревилли был слишком художник, чтобы не приходить в восторг от удачных и законченных творений исконного врага своего, дьявола. Он был как тот французский инженер в «Тарасе Бульбе», который во время осады польского города казаками, видя их атаку, бросил заряжать свою пушку и стал им аплодировать и кричать «Bravo, messieurs zarogouï!».⁶⁰

Однажды Барбэ рассказывал Пеладану содержание одной своей повести (это была последняя из «Diaboliques» — «Une histoire sans nom»,⁶¹ вышедшая отдельной книгой), «повести любви и счастья столь преступного, что одна лишь мысль о нем приводит в ужас и чарует (да простит нам Господь!) — чарует той чарой, что тот, кто испытывает ее, сам становится соучастником». . . Когда Пеладан, придя в ужас от того наказания, которому Барбэ подверг своих героев, пытался оправдать их примерами истории и искусства, Барбэ д'Оревилли взял его за руки и сказал торжественно: «Дьявол — великий художник, и это Его вы слышали только что. Но не следует допускать, чтобы произведение, вами написанное, было освещено адскими огнями, когда вы имеете честь быть христианином». В этих словах высказался весь Барбэ-художник.⁶²

И все-таки, несмотря на совершенство и необычайность своих произведений, несмотря на импонирующую красоту своей личности и своей литературной роли, Барбэ д'Оревилли навсегда останется лишь *подземным классиком*, лишь напрасным фейерверком ума, страсти и вдохновения.

III. СОВРЕМЕННОКИ О БАРБЭ Д'ОРЕВИЛЛИ

О Барбэ д'Оревилли существует довольно обширная литература. Ему посвящено несколько книг, из которых самая ценная и полная принадлежит перу Греле, и много десятков газетных статей. Наиболее беспристрастная из оценок его произведений была сделана Реми де Гурмоном⁶³ в большой статье, ему посвященной. Анатолий Франс после смерти его дал «Temps» блестящую характеристику⁶⁴ — тонкий, остроумный и убийственно злой портрет последнего шуана. Статья Жюль Леметра⁶⁵ интересна как документ отрицательного отношения к Барбэ. Поль де Сен-Виктор был один из первых, околдованных им, и слова его, приводимые здесь, взяты из статьи, появившейся в «La Presse» в конце 50-х годов.⁶⁶ Они подтверждают тот невероятный комплимент, который был сказан Виктором Гюго Сен-Виктору: «Стоит написать целую книгу лишь для того, чтобы вы написали об ней одну страницу».⁶⁷

Пеладан был последним из сердец, завоеванных Барбэ: он его узнал лишь в старости.⁶⁸

Отражение фигуры Барбэ д'Ореви́льи в этих четких и формулирующих умах, иных враждебных, иных сочувственных, может дать почувствовать живой трепет его личности.

Барбэ д'Ореви́льи, — говорит Р е м и д е Г у р м о н, — это одна из самых оригинальных фигур в литературе XIX века. Весьма вероятно, что он еще долго будет вызывать любопытство и надолго останется одним из немногих как бы подземных классиков французской литературы. Алтари их в глубине крипт, но верные спускаются туда охотно, между тем как храмы великих святых к солнцу раскрывают свою пустоту и уныние. В области слова они немного то, что «любовники» в жизни. Семьи сторонятся от них, к ним боятся подойти, но на них смотрят и гордятся тем, что их видели. Они отнюдь не чудовища. Напротив, их находят слишком красивыми, слишком свободными. Медленно и с осторожностью священники и профессора изгоняют их из библиотек и прячут их в глубине шкапов: выставленные на свет, блещут мораль и разум. Но всегда существуют люди, которые смеются над моралью и не уважают разум. Те грешники, что сохранили нам Петрония и Марциала, в наши дни Ламартину предпочитают Бодлэра, Барбэ д'Ореви́льи — Жорж Занд, Вилье де Лиль-Адана — Додэ, Верлэна — Сюлли Прюдому. Из этого следует, что существует две литературы: одна, которая соответствует консервативным стремлениям человечества, а другая — разрушительным. Таким образом, ничто не может быть ни разрушено вполне, ни вполне сохранено. Каждый в свою очередь выигрывает в лотерее, и культурным людям это доставляет неистощимую тему для разногласия.

Барбэ д'Ореви́льи не из тех людей, которые предрасполагают к банальным восторгам. Он сложен и капризен. Одни смотрят на него, как на христианского публициста, как на Вейо-романтика, другие кричат о его безнравственности и о его сатанинской дерзновенности. И это все есть в нем: отсюда все противоречия, которые существовали в нем не только в сменах, но и одновременно. Сперва он был афе́ем и имморалистом; но когда духовный переворот кинул его обратно к религии, он остался таким же имморалистом, как вначале, и это казалось невероятным. Никто и даже он сам, быть может, не знал, соединялся ли его бодлерианский католицизм с истинной верой. Про Шатобриана говорили: «он верит в то, что он верит». Барбэ д'Ореви́льи, наоборот, был так уверен в своей вере, что позволял себе всякие вольности, даже свободу быть ей неверным. Отчасти это происходило и оттого, что он изучил историю церкви достаточно глубоко чтобы знать, что лучшие и наиболее ей пользы принесшие католики были в то же время великими язычниками. Как норманец, он не способен на глубокую религиозность, но глубоко привязан к некоторым формам религиозных традиций. Он индивидуалист до скандала; авторитет он может выносить лишь в виде той идеи, которую он сам себе создал. Полный нежности к своей родной земле, он покидает ее без сожаления, чтобы позже опять вернуться к ней с любовью. Рожденный в среде, чья культура вся в традициях, он чувствует потребность в новых устоях и уходит на завоевание их с безоглядностью искателя приключе-

ний. Характер его лишен гибкости, и потому ему предстоит долгая борьба. Пятьдесят лет понадобится ему для того, чтобы дрожащей рукой прикоснуться к славе.⁶⁹

Барбэ д'Ореви́льи обладает истинным характером романиста — редким характером. Он интересуется жизнью. Это связывает его с Бальзаком. Любовь людей, их слова, их жесты для него явления глубоко серьезные, даже когда они комичны. Он истинный социолог. Общество для него абсолютно. Флобер рядом с ним — физик, для которого жизнь безразлична: он взвешивает и измеряет вещество. Но воображения в Барбэ больше, чем наблюдения. Когда он внимательно всматривается в жизнь, он начинает там замечать вещи, видимые лишь для него одного. Другими словами, в тот самый момент, когда ему кажется, что он наблюдает, он фантазирует. Реальность для него только предлог, лишь исходный пункт. Это поэт, и как романист он может быть ближе к Теофилю Готье, чем к Бальзаку. Он любит слова ради их самих и складывает фразы лишь ради их звучности. Литературная чуткость его очень велика. Ему стоило многого простить неловкости стиля страстно им любимому Бальзаку. Красота формы сделала его снисходительным к тем идеям, которые вызвали бы его гнев, будучи выражены плохим языком.⁷⁰

«Les Diaboliques» — это расцвет гения Барбэ д'Ореви́льи. Если бы эта книга принадлежала перу Бальзака, она была бы шедевром Бальзака. Страсть красноречивую, экспансивную мы находим повсюду у Барбэ д'Ореви́льи, но здесь страсть со сжатыми губами, страсть без жестов. Недостатки «Les Diaboliques» мы почувствовали лишь после Флобера. Отнесенные же к их настоящей эпохе, такие рассказы, как «Dessous de carte d'une partie de whist», не имеют иных несовершенств, чем те, что в настоящее время портят нам впечатление «El Verdugo» или «La Grande Bretèche».⁷¹

А н а т о л ь Ф р а н с так писал о Барбэ д'Ореви́льи ⁷² после его смерти:

«Мне довольно трудно составить себе справедливое представление о характере Барбэ д'Ореви́льи. Я его видел всегда. Для меня это воспоминание детства, как статуи на Pont d'Iéna, у подножия которых я играл в серсо в те времена, когда на диких и цветущих склонах Трокадеро ⁷³ еще можно было собирать кашки, клевер и кукушкины слезки.

У меня не было никакого определенного мнения об этих статуях. Я смутно различал, что это были люди, которые за узду держали каменных лошадей. Не знаю, были ли они безобразны или красивы, но я чувствовал, что они были зачарованы, как свет солнца, который сладко купал меня, как свежие вздохи ветра, которые я вдыхал с радостью, как деревья пустынной набережной, как смеющиеся воды Сены, как весь мир. О, я это прекрасно чувствовал. Но я не знал, что колдовство было во мне и что это я сам, такой маленький, сияющий радостью, наполнял всю неизмеримую вселенную. В девять лет субъективность впечатлений окончательно ускользала от меня.

Первые встречи мои с г-ном д'Ореви́льи относятся к этой райской поре

моей жизни. Моя бабушка, которая его немного знала и которую он весьма удивлял, мне показывала его, как редкость, во время наших прогулок.

Этот господин в шляпе с полями из красного бархата, сдвинутой на ухо, с узко стянутой талией, в сюртуке, спадавшем широкой юбкой, который прогуливался, ударяя хлыстом по золотому галуну своих обтянутых панталон, не внушал мне никаких размышлений, так как моим естественным свойством было, — не искать причин явлений.

Я смотрел, и никакая мысль не смущала ясности моего взгляда. Я был лишь доволен тем, что существуют люди, которых легко узнать. Г-н д'Оревилли был, разумеется, из таких людей. И инстинктивно я чувствовал к нему дружбу. В моей симпатии я соединял его с инвалидом, который ходил на двух деревянных ногах, с двумя палками в обеих руках, с носом выпачканным в табаке и, встречаясь со мной, говорил мне: „Здравствуйте-с“; со старым учителем математики, одноруким, который красным лицом, украшенным бородой сатира, улыбался моей няньке, и с большим стариком, одетым в одежду из грубой парусины, со дня трагической смерти своего сына. Эти четыре лица имели для меня то преимущество над всеми остальными, что я легко мог их узнавать и рад был узнавать их. И еще в настоящее время я не вполне могу отделить г-на д'Оревилли в своих воспоминаниях от учителя математики, от инвалида и от сумасшедшего. Все четверо они для меня сливались с другими памятниками Парижа, подобно статуям на Иенском мосту. Была лишь та разница, что они двигались, в то время как статуи не двигались. Об остальном я не думал.

Двенадцать лет прошли незаметно, и однажды, зимнею ночью на улице du Вас я встретил случайно Барбэ д'Оревилли, который шел в сопровождении Теофиля Сильвестра. Я был с другом, который представил меня. Сильвестр защищал святого Августина, ругаясь при этом, как дьявол. Железным наконечником своей трости он бил о край тротуара.

Барбэ, ударив тоже, высек искры и воскликнул:

„Мы циклопы мостовой!“.

Он сказал это своим голосом серьезным и глубоким. Уже потеряв свою первобытную чистоту, я очень желал понять; я искал смысла этих слов, не мог разгадать его и испытывал истинную боль.

Мне приходилось встречать Барбэ д'Оревилли во все эпохи моей жизни. Я имел честь сделать ему визит в его маленькой комнатке на улице Русселе, где тридцать лет прожил он в благородной бедности.

Барбэ д'Оревилли, одетый в красное, стоял гордый и великодушный в этой поблекшей и голой комнате. Надо было слышать, как произнес он эту трогательную ложь:

— Свою мебель и ковры я отправил в деревню.

Беседа его сверкала образами и неожиданными оборотами.

„Je tisonne dans vos souvenirs pour les ranimer. . . Vous regardez la lune, mademoiselle: c'est l'astre des polissons. . . Vous l'avez vu, terrible, la bouche ébréchée comme la gueule d'un vieux canon. . .“*

* Я мешаю уголья в ваших воспоминаниях, дабы их оживить. . . Вы смотрите на луну, мадемуазель. Это звезда распутников. . . Вы увидели ее страшную, с пастью, висящей, словно жерло старой пушки (франц.).

... для Господа нашего Иисуса Христа большое счастье, что он был Богом; как человеку ему не хватало характера. . .“.

Все это говорилось серьезным голосом, в котором, не знаю как, смешивались и ужасающе сатанинское, и очаровательно детское.

И это был старый господин лучшего тона, изысканно вежливый, с величественными манерами.

Без сомнения, он был необычаен. Но как Генрих IV на Pont-Neuf ⁷⁴ или пальма на крыше купальни Самаритен, он больше не удивлял. Его кафтаны, подбитые красным бархатом, казались чем-то, не скажу обычным, но необходимым.

В сущности, и это делало его столь безусловно любезным, он не хотел никогда никого ни удивлять, ни забавлять. Это он делал лишь для самого себя. Лишь для самого себя он носил и кружевные галстуки и манжеты, как у мушкетеров. У него не было, как у Бодлэра, ужасного искушения изумлять, противоречить, вызывать антипатию.

Его странности никогда не носили характера враждебности. Он был естественно эксцентричен.

В жизни его есть темные периоды: про него утверждают, что в течение некоторого времени он был компаньоном торговца религиозными предметами в квартале Сен-Сюльпис. Не знаю, правда ли это. Но мне хотелось бы, чтобы это было так. Мне нравится, что этот тамплиер ⁷⁵ продавал четки.

В этом я нахожу забавное возмездие условному со стороны реальности.

Однажды я видел старого трагика в Одеоне, который с челом, увенчанным царской повязью, и со скипетром в руке изображал Агамемнона. Мысль о том, что этот царь царей женат на театральной уврезке, ⁷⁶ наполнила меня извращенною радостью.

Представить себе Барбэ д'Оревильи, принимающим заказы монастырского белья, — в этом есть удовольствие еще более изысканное.

Но если подумать, то самое удивительное совсем не то, что д'Оревильи продавал стихари, а то, что он писал критические статьи. Однажды Бодлэр, которого он третировал в своей статье как преступника и великого поэта, подошел к нему и, скрывая свое глубокое удовольствие, сказал:

— Милостивый государь, вы посмели коснуться интимной стороны моего характера. Если бы я потребовал вас за это к ответу, я поставил бы вас в довольно затруднительное положение, так как, будучи католиком, вы не принимаете дуэли.

„Monsieur, — сказал Барбэ: — страсти свои я ставлю всегда выше своих убеждений. Я к вашим услугам“.

Он немного хвастался, говоря о своих страстях. Но, надо отдать ему справедливость, он никогда не колебался ставить свои фантазии выше здравого смысла. Двенадцать томов его критики — это самое своевольное, что было когда-либо вдохновлено капризом. Критика его полна гнева и бешенства, оскорблений, обвинений, богохульств и отлучений.

Она сыпет молнии и остается в то же время самым невинным созданием в мире. И здесь д'Оревильи спасен своим гением, своей счастливою ребяч-

ливостью. Он пишет, как ангел, как дьявол, но он сам не знает, что он говорит.

Что же касается до его романов, то они занимают место среди самых удивительных произведений нашего времени. Два из них, безусловно, шедевры в своем роде. Я говорю о „L'ensorcélée“ и об „Chevalier des Touches“.

Стиль Барбэ д'Оревиля — это то, что меня удивляет больше всего: он неистов и нежен, груб и изыскан. Сен-Виктор сравнивал его с теми колдовскими напитками, куда входят одновременно цветы, змеинная слюна, мед и кровь тигра. Это адское питье; но оно по крайней мере не пресно.

Что же касается до философии Барбэ, который был философом меньше, чем кто-либо из людей, то это приблизительно философия Жозефа де Местра. Он прибавил к ней лишь богохульства.

О своей вере он заявлял при каждом удобном случае, но предпочтительно он исповедовал ее в богохульствах. Кошунство для него было приправой к вере. Как Бодлэр, он обожал грех.

Он знал лишь гримасу, лишь маску страсти. Он всегда впадал в кошунство, и ни один верующий не оскорблял Бога с таким усердием.

Не бойтесь. Этот великий богохульник будет спасен. В своей нечестивой дерзновенности тамбурмажора и романтика он сохранил божественную невинность, которая пред престолом вечной Мудрости заслужит ему прощение. Св. Петр скажет, увидавши его:

„Вот Барбэ д'Оревиля. Он хотел обладать всеми пороками, но не мог, потому что это очень трудно и для этого необходимы естественные склонности. Он очень любил драпироваться в преступления, потому что преступление живописно. Он остался самым светским человеком в мире, и житие его было почти монастырское. Правда, он иногда говорил отвратительные вещи; но так как он и сам в них не верил и никого не мог заставить поверить, то это оставалось только литературой, что извинительно. Шатобриан, который тоже был на нашей стороне, своей жизнью издевался гораздо более серьезно над нами“».

Еще при жизни Барбэ д'Оревиля Жюль Леметр писал про него:

«Барбэ д'Оревиля меня изумляет. . . и кроме того. . . он меня снова изумляет. Мне цитируют его слова поразительного остроумия, героического полета, которые блеск образа соединяют с неожиданностью мысли. Мне говорят, что он говорит всегда так, что он шествует сквозь жизнь, облеченный в нарочитый костюм, затянутый, надушенный, застывший в позе вечного рыцарства, непрерывного дендизма, непроходящей молодости. Это мастер слова красноречивый, обильный, пышный, изысканный, с султаном на шляпе, до редкости лишенный простоты. . . Он внушает мне самое почтительное уважение, но в то же время он меня смущает, пугает, повергает в изумление.

Это не моя вина. Его высокомерные манеры, его громадные жесты, его своевольные пристрастия, его суеверные видения аристократизма, этот страх и любовь к сатане, этот католицизм, не прикрывающий никаких христианских добродетелей, эта выработанная несдержанность, эти вспышки

гнева и негодования, эта гордость. . . все это мне невыразимо трудно принять.

То, что делает душу Барбэ д'Оревилли столь мало приемлемой для моего радушия, это совсем не то, что он является аристократом в веке мещанства, абсолютистом во времена демократии, католиком в эпоху атеистического знания (все это я вполне допускаю), неприемлема та манера, с которой он осуществляет все это. Мне ведомо, что не все души принадлежат эпохе, их породившей, и что есть между нами люди средних веков и Возрождения.

Признаюсь, что я даже очарован тем, что Барбэ д'Оревилли в одно и то же время и крестовосец, и мушкатер, и шуав. Но он осуществляет все это с такой преувеличенной яростью, с таким явным выставленным самодовольством, что он не таков, как мы, с таким громогласным афишированием, в такой безнадежно театральной обстановке, что недоверие охватывает меня, что та нежная внимательность, которая приподымалась уже во мне навстречу этому вышлецу прошлых столетий, колеблется, смущается, переходит в удивление, и я вижу перед собой лишь напыщенного актера, опьяневшего от своей роли.

Самая великая и самая забавная из иллюзий Барбэ д'Оревилли — это, безусловно, его католицизм. Я думаю, что он действительно верит. По крайней мере, он громко исповедал все догматы и охотно изумляется „глубоким прозрением церкви“. Всякое иное учение, кроме католического, он признает отвратительным и извращенным. Наконец, он имеет претензию на целомудренность; в одном из своих романов он мужественно вычеркнул „три строчки неприличных подробностей“, представляя себе, вероятно, что других подобных строк нет в его произведениях.

Но я не знаю ничего менее христианского, чем католицизм Барбэ д'Оревилли. Он похож на перо на шляпе мушкатера. Я вижу, что г-н д'Оревилли носит Бога, как кокарду на своей шляпе. Но в сердце? Не знаю.

Все его творения проникнуты чувствами диаметрально противоположными тем, которые должен был испытывать истинный сын церкви. Грешники имеют всегда невыразимое очарование для Барбэ д'Оревилли. Он не допускает, чтобы грешник был ничтожеством. Он всегда снабжает их удивительными талантами. Он их видит грандиозными, он их любит, он удивляется им. Почти все герои романов, написанных этим христианином, — атеисты. Он созерцает их с ужасом, преисполненным тайной нежности. Он всегда очарован дьяволом.

Но если немного сомнения примешивается к его наивной и неудержимой симпатии к грешникам, то уже с полной беззаветностью, беспримесной любовью любит он и славит знаменитых денди, великих светских людей, глубоких виверов, непостижимых Дон-Жуанов.

Идеал его жизни сплавлен из Бенвенуто Челлини, герцога Ришелье и Джорджа Брёммеля.⁷⁷

Вот слова Поля де Сев-Виктора:

«Воинствующая церковь не имела борца более дерзновенного, чем этот Тамплиер пера, чья наступательная критика есть постоянный крестовый поход. Непобедимый полемист, он является в то же время писателем гор-

дым и оригинальным. Художника-крестоносца, изобретателя и стилиста в нем можно отделить от борца и метателя парадоксов. Французский язык еще никогда, быть может, не был доведен до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насильничества с деликатностью, горечи с утонченностью.

Это напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиной слюны, из крови тигрицы и меда».

«Вот писатель-воин, — говорит Пеладан, — которому консервативная партия отказалась дать войска. Без скипетра, без солдат, без одобрения короля и папы, в изгнании и в опале, этот католик с улицы Русселе был последним Хоругвеносцем церкви, последним великим видамом Франции.

Теоретик рухнувшей старины, естественному течению революции и ее завоеваниям противопоставил он свою бесполезную, но героическую смелость.

Творение д'Оревилли — это Роландов рог в Ронсевальской долине монархии, но император с седой бородой не придет плакать над богатырями. Сломанный Дюрандаль достался сарацинам.

Да. Слабый луч славы, который освещает эту память, это — справедливость врагов, удивление перед искусством. Его смерть не тронула никого из католиков: потому что официальный католицизм не больше признает Савонаролла, чем д'Оревилли: пламя одного и гений другого пугают косность этих факиров, ищущих совершенства в отречении от индивидуальности.

Своим убеждением осужденный защищать тех, кто отрекался от него, он на своей печати написал роковой девиз: „Too late“ — Слишком поздно.

В Италии времен Возрождения проходят, борются и умирают десятки фигур, достойных цезарского венца. — Пантеон побежденных, но XIX век имеет лишь одного человека, равного им по несчастью — великого и непризнанного.

Один лишь своим четверояким гением обличает неисцелимую глупость эпохи, которая удостоивает славы лишь после долгого грохота рекламы. Единый испил чашу клеветы и непризнания, и то был — Барбэ д'Оревилли». ⁷⁸

Такими гранями отразилась личность Барбэ д'Оревилли, этого изгнанника прошлых веков в XIX веке, в понимании и восприятии своих современников. Лучи, ими отраженные, говорят о твердости и драгоценности камня.

